

© Все права защищены. Использование текста или отдельных его отрывков без согласия правообладателя преследуются по закону.

Олег Гончаров.

ПОЛОНЯНИН

Исторический роман.

(вторая книга трилогии «НОЧЬ СВАРОГА»)

Близким и дальним моим.

*«И разбиты мы рукой вражеской, и бьет крылами Мать-Сва, и Доля по горю
нашему слезы льет, но не век нам быть полонянами... »*

Велесова книга (V. 4/5).

ПРОЛОГ

Князь Киевский умирал. Умирал страшно. Умирал так, как не приведи Боже умереть никому.

С него сорвали исподнее, и кто-то, под всеобщий смех, высморкался в расшитую княжескую рубаху. А кто-то наступил на одну штанину, замызганных грязью и кровью парчовых портов, потянул за другую и разодрал в клоки.

А потом ему, голому, ткнули горячей головней в пах, и это рассмешило мучителей еще сильнее. Один даже упал на снег, схватился за живот, принялся кататься, заходясь в безудержном веселье.

И тут одноглазый предводитель истяжателей вынул из-за пояса нож. Подковылял на кривых ногах к измученному князю. Исподлобья, снизу вверх, оглядел исколоченное, опаленное тело своего давнишнего врага и криво усмехнулся, показав крупные желтые зубы. А потом просипел простужено:

— Помнится, Святослав, ты так любил потешаться над этим, — грязным пальцем он оттянул вниз веко, обнажив безобразное бельмо. — Занятно, что ты теперь скажешь? — и воткнул острое черное жало в правый глаз князя Киевского.

А затем потянул нож на себя, и к посиневшим от холода ногам княжеским упал белый кругляш с красными прожилками, да так и остался лежать на снегу, уже никому не нужный.

Князь до скрежета сжал зубы, но все же не смог сдержать крика. И по исхודהвшей щеке его пробежала кровавая слеза. Скатилаь по заиндевелому усу. Упала тяжелой каплей рядом с вырванным глазом.

— Вяжите его, — предводитель остался доволен своей выдумкой.

И мучители радостно бросились выполнять приказание. Они накинули сыромятную петлю на руки Святослава, а другой конец ремня привязали к хвосту маленького злого жеребчика.

— Будь ты проклят, — невозмогая боль, прошептал князь.

— Обязательно буду, — весело рассмеялся одноглазый кат, легко вскочил на спину жеребца и хлестанул его плеткой по ребрам.

Конь скакнул вперед. Ремень натянулся. Жеребец рванул. Сбил Святослава с ног. Потащил князя по иззябшей, схваченной стужей земле.

— Будь ты проклят! — из последних сил крикнул князь.

Одноглазый вновь хлестнул коня, и тот скорой иноходью понесся по заснеженному берегу. Тело князя заскользило следом...

Его бросало из стороны в сторону...

Било об прибрежные камни...

Волокло по шершавом льду Славуты-реки...

Подбрасывало на кочках...

Одноглазый сделал широкий круг и под ликующие крики мучителей вернулся на берег. Осадил коня. Спрыгнул с него. Крепкими руками потянул за ремень, подтащил тело Святослава к себе и презрительно пнул его носком сафьянового сапога. Очень удивился, когда князь тихо застонал.

— Живучий, говоришь? — просипел.

Выхватил свой нож, наступил на избитую голову Святослава. Затем нагнулся и, привычным движением, словно барану, перерезал князю горло. Горячая кровь окрасила белый снег. Лезвие ножа, прорвав мякоть горла, вошло между шейными позвонками. С громким хрустом отделило голову от дернувшего ногой тулова. А посиневшая мертвая уже рука сграбастала пальцами пригориню снега, и застыла скрюченная в смертной судороге.

Одноглазый вытер нож о синее голенище сапога, мгновение полюбовался красивым клинком, а потом сунул его за пояс. Потом накрутил на указательный палец длинную прядь русых волос княжеского оселка и высоко поднял отрезанную голову.

— Слава хану Куре! — крикнул кто-то из мучителей.

— Слава! — подхватили остальные.

— Будь ты проклят! — беззвучно прошептали мертвые губы.

— Будь ты проклят! — крикнул я.

Дернулся, стараясь вырваться из пут, но ремни только сильнее впились в запястья.

А, Куря, словно вспомнив обо мне, повернулся и спросил:

— Что, Добрын? Рад, небось, что на Руси больше князя нет? — и, не дожидаясь ответа, пошел на меня.

Словно безделица, в его руке раскачивалась голова Святослава...

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КОНЮХ.

8 сентября 947 г.

Старый ворон знал, что все кончается рано или поздно. Он вспоминал тот далекий день, когда впервые решился расправить свои хиленькие крылышки. Вспоминал, как ему было страшно оттолкнуться от родного гнезда. Словно он уже тогда понимал, что ему больше никогда не вернуться назад.

Но что-то влекло его в неизвестность. Какая-то неумолимая сила старалась вырвать его из привычного мира. Мира, в котором было все так просто и ясно. Мира из теплых перьев, надоевшего гомона вечно голодных братьев, и спокойного, доброго и ласкового голоса матери...

В тот день он так и остался в гнезде...

И братья громко, чтобы все слышали, смеялись над ним. Они называли его трусом...

Называли его глупцом...

Птенцом-переростком...

Всю ночь окрестности взрывались издевками слетков, а он упрямо впивался черными когтями в ветки гнезда...

Только под утро он понял великую истину. Он понял, что все рано или поздно кончается, и от этого стало еще страшнее. И он закричал зло на насмешников, раскинул крылья и бросился навстречу новому...

Неведомому...

Злому...

Непостижимо интересному Миру...

Старый ворон поймал поток ветра. Каркнул. Сделал широкий круг над гнездовьем людей и завалился на левое крыло. Тяжело присел на конек, иссеченной дождями тесовой крыши, окинул хозяйским взглядом окрестности и задремал...

— Ой... Лихонько... Лихо... Не бери мя, девоньку, в свой темный лес... Не веди мя, Лихонько, в черну пещерь. Ты остави мя, Лихонько, дома с батюшкой... Чур! Чур-хитрец*,

*Лихонько — Лихо (Лешак, Леший) — лесное божество, сродни фавну греческих мифов. Злая сила Природы.

Чур (Щур) — Божество границ, покровитель собственности (ср. Чур, мое!) Отсюда: черт (стр. слав. ЧЪРТ) — проклятый, нарушивший границы (прежде всего нравственные), черта, очерчивать и т.д.

защити мя, девоньку, страхи мои пожри... Чур, мя! Чур!..

— Чегой-то Дарена ныне совсем разошлась? Ай, беду чувствует? — фыркнул, не хуже жеребца, старшой конюший. — Добрыня, — позвал он, — иди, спытай, чего ей там привиделось?

— Сейчас, Кветан, только Буяну корму задам...

Я засыпал золотистый овес в ясли и похлопал мерина по гнедой шее. Вышел из денника, затворил за собой дверь, воткнул железный притвор в петлю чепца, поставил деревянное ведро с остатками зерна возле стены, откинул со лба прилипшую прядку волос, высморкался на земляной пол конюшни, растер ногой, и пошел в шорню, из которой раздавались причитания безумной девки.

Здесь я ее и нашел. Она забилась в угол, сжалась в комок на груди перекислых кож, засунула голову под потник недошитого седла и причитала испуганно, отмахиваясь культей от белого света, точно от злой напасти.

— Чур, мя, девоньку, оборони от Лиха недоброго, от свирепой напасти, от Доли сердитой, от безволия страшного...

— Ну, чего ты, Дарена, — осторожно подошел я к ней, присел рядом, погладил по трясущимся в плаче плечам, — Не пужайся ты так. Сердце себе не рви.

— Батюшка родненький, — всхлипнула она, голову из-под деревянной рамы вынула и прижалась к моей груди. — Как хорошо, что ты пришел. Я же так напужалась, так мне, девоньке, боязно стало от вороньего грая. Не бросай меня, батюшка. Не оставляй одну,

бери с собой в кухню. Я там буду тихо сидеть, как мышка, и в горн не полезу, и под руку тебе слова не скажу. Ты только не оставляй меня, батюшка... — и зарыдала पुще прежнего.

— Тише, милая, тише, — прижал я ее, точно маленькую. — Не оставлю я тебя.

Угомонись...

И девка, всхлипнув еще пару раз, стала успокаиваться.

Хорошей Дарена была, доброй и безобидной. Только после того как отца ее, Любояра-коваля, за бунт варяги лютой смертью казнили, а ей самой руку отсекли, на нее временами находило. Ум за разум забегал, и пророчила девка всякие беды и сама своих пророчеств пугалась...

Белорева бы сюда. Был бы знахарь жив, он бы точно ей помочь смог. Травой бы, какой отпоил, отчитал бы, лихоманку бы прогнал. Да, помер мой наставник. Лег у кургана Ингваря Киевского, порубленный варяжскими мечами, и с ним много древлян рядом легло. А отец едва живым тогда ушел. Кровавым побоищем обернулось его знакомство с молодой невестой. Так Ольга за смерть мужа отомстила...

Хитра матушка у кагана Киевского. Хитра, да умна. Под стать отцу своему — ярлу Асмуду. После гибели мужа сумела власть над Русью в руках удержать, огнем и мечом мятеж в Киеве усмирила. Подняли, было, головы свои поляне, так она их снова к земле пригнула.

Хотел мой батюшка дома наши породнить, распрям конец положить. Замуж ее позвал, но обдурила она нас. Вокруг пальца обвела. Согласилась на свадьбу вроде, а сама варягов по-тихому наняла. Брата своего, Свенельда, к печенегам за подмогой послала. Сколько могла время тянула, а как собрала силы в кулак, так и вдарила по жениху.

Не ждали мы преподлого от нее, а вон как все вышло. Сначала землю Древлянскую под себя подмяла, а потом и вовсе стольный град Коростень осадила. Цельное лето мы в осаде прожили. Не могла она нас приступом взять, и измором взять не могла. Только и мы против нее и Свенельдовых наемников ничего поделатъ не могли. Так и сидели, друг на друга пялились...

В крепкий узел завязалась старая распря между родами, ни распутать — ни разрубить...

Так и упирались бы — всяк со своей стороны, до скончания века. Болеслав, дед мой, круль Чешский помог, из чащи буреломной выход нашел. Уговорил отца отдать Коростень, а вместе со стольным городом и всю землю Древлянскую. Был князем Мал Нискинич, а стал пленником. Правда, пленником почитаемым.

Уже год он в Любиче безвылазно под приглядом. И власть свою, княжескую, он Киеву отдал. Иначе вывели бы варяги род древлянский под корень. Перебили бы народ, залили бы кровью поля и леса окрестные. Не стоит власть такой руги...

Вот малолетний Святослав и прибавил к своему званию кагана Киевского еще и титул князя Древлянского. Мать его, Ольга, законной княгиней стала, но за то на людей наших обиду простила...

Пожалел своих отец, и я пожалел. Не стал против такого возражать. Добровольно в полон пошел, и сестренку свою, Малушу, с собой взял. За нее я не беспокоился. Она в Ольговичах, в деревеньке княжеской недалеко от Киева, обосновалась. Под присмотром наших бывших сенных девок Загляды и Владаны. Не захотели они Малушу одну оставлять, в кухарки подрядились, потому, как сестренку Ольга к кухне приставила. Были мы с Малушей княжич с княжной, а стали — конюх с посудомойкой...

Но не горевали мы. Ни я, ни она. Она по малолетству, а я холопства не боялся. Год целый у викингов в трэлях выживал. За Океян-Море с ними ходил, в Ледяной Земле, в Исландии, выдюжил. И то ничего. А здесь, среди полян и подавно живым буду. Девять лет — не вся жизнь. Пролетят быстро. Зато знаю, что где-то недалеко, всего в шести днях пути ждет меня суженая...

Я, вон, Дарену успокаивал, по волосам ее гладил, к груди прижимал, а сам о любимой своей думал. Не видались давно. Скучаю, сил нет. Как она там? Любава моя. Любавушка...

Не позволил отец нам жениться. Она огнищанка — я княжий сын. Только все одно по-моему вышло. От того я с легким сердцем от звания грядущего князя отказался. К чему власть, если рядом любимой нет? Вот и я говорю — ни к чему...

И пусть не отпускают меня пока со Старокиевской горы. В крепии держат. Стерегут, пока Ольга с сыном в Нов-город ушли, а Свенельд на Руси порядок наводит. Только терпеливый я. Знаю, что придет день и увижу ее снова. А в разлуке любовь наша только сильнее станет...

Так и сидел я в шорне на кожах. Дарену укачивал, точно дитятю. А она совсем успокоилась, придремала даже...

— Оставь ее! — выдернул меня из дум окрик.

Я и сказать ничего не успел. Почувствовал, как чья-то крепкая рука меня за шкуру схватила. Рвануло так, что я, словно кутенок, вверх тормашками полетел. Успел заметить,

что Дарена так и не проснулась. Вот и ладно. Ее тревожить не будем. А с обидчиком покваемся.

Ладонь под щеку подставил, чтоб о землю не дерануло. Кутырнулся через плечо. Чую — рука обидчика с ворота сорвалась. На ноги вскочил. Собрался сдачи дать. Только не сумел. Он проворней оказался. В горло вцепился, к стене прижал. А хватка у него крепкая, как клешня у рака. Придавил в ремни да уздечки, что на стене висели. Если бы не они — затылок бы о бревна разбил.

— Убью! — супротивник змеюкой зашипел.

Только тут я понял, кто на меня набросился. Мотнул головой. Из ремней выпростался, смотрю — Свенельд. Вернулся, значит.

— Дурак! — хриплю. — Отпусти! Девку разбудишь... Опять кричать станет... — а у самого в глазах темнеет.

— Ты чего ее облапил? — не понимает варяг. — Думаешь, что если убогая она, так с ней непотребства творить можно?

— Не лапал я ее... — силы меня оставлять стали. — Успокоить хотел... отпусти...

Он на меня взглянул недоверчиво, но с горла руку убрал. Я по стене тряпкой сполз. На четвереньки опустился. Тошнота накатила, вот-вот выворачивать начнет...

Ртом воздух хватаю...

Отдышаться никак не могу...

— Она вороньего грая испугалась... — я головой помотал, чтоб скорее в себя прийти. — А ты дурное подумал...

— Ладно, — Свенельд рукой махнул. — Не разобрался я...

Он нагнулся над спящей Дареной, ладонью по волосам растрепанным нежно провел. Девка что-то забурбила во сне, а потом улыбнулась вдруг. На бок повернулась. Культю под голову подсунула. Спит.

Тут и я в себя пришел. С пола поднялся. Вдохнул глубоко. В нос привычный запах кожи, конского пота и навоза ударил.

Живой...

— Прости, Добрынка, за то, что набросился на тебя, — варяг на меня глаза поднял, а в них веры нет.

Я в ответ головой кивнул.

— Что? — говорю. — Жалко тебе ее?

— Жалко, — тихо ответил Свенельд. — Пускай спит, — он нехотя от Дарены оторвался.

— Пойдем, — говорит. — Мешать ей не будем.

Вышли мы из шорни. Он за собой осторожно дверь прикрыл.

— Ты когда приехал-то? — спросил я, потирая шею.

— Только что. Коня на конюшню завел. Про Дарену спросил, а мне Кветан говорит, мол, с Добрыном она, в шорне. Вот и досталось тебе, ни за что, ни про что, — а сам мне в глаза посмотрел.

Пристально так. Точно выпытывая — было чего, или не было?

— Да, удружил мне старшой, — выдержал я его взгляд. — А ты тоже хорош. Так и угробить можно.

— Ну, да ладно, — похлопал он меня по плечу.

Поверил?

Кто его разберет, что у него на уме? Однако слепому ясно — между варягом и девкой шутоломной, Леля*

*Леля — крылатая помощница (по мнению некоторых исследователей — дочь) Богини любви Лады.

крылами своими махнула...

Вот ведь, как Доля с Недолей порой нить судьбы вьют. Сами крутят веретено, и сами же над работой своей потешаются.

Нитка черная...

Нитка белая...

И вчера еще дочь Любояра-коваля ножом вострым пыталась сердце варяжское пробить, а сегодня это же сердце тоской любовной иссушает. И понимает Свенельд, что не пара ему Дарена.

Однорукая...

Полоумная...

На варягов сердитая...

Гонит он ее из дум своих. Сам сломя голову прочь бежит. Жизнь свою, словно коня прищипоривает. Злится и на себя, и на нее, и на весь Мир...

Только что он поделать может? Вошла в сердце заноза, и не вынуть ее. Ни иголкой, ни клещами железными. Стонет душа. Кровью обливается. А Доля с Недолей, знай, судьбу завивают.

Нитка белая...

Нитка черная...

Даже жалко его. И себя жалко. Ведь я такой же...

Любовью раненый...

Пусто на конюшне. Считай, что все денники пустые. Один Буян овсом хрумкает — старый мерин, для нужд хозяйских оставленный. И конюхи со старшим во главе кто куда разбежались. В щели забились, спасаясь от воеводина гнева. Тихо вокруг, только крысы в яслях шуршат...

— Эй, Кветан! — позвал воевода.

Тишина в ответ.

— Спрятался кислый хрен, — стукнул кулаком по деревянной перегородке Свенельд. — Тогда ты ответь, — обернулся он ко мне. — Готовы ли вы? Ольга со Святославом на подходе. Малая с Большой дружиной под Любичем встретились, и я сюда поспешил, чтоб дворню предупредить.

— Мы-то готовы, — ответил я. — Закрома полные. Крышу подновили, ворок*

*Ворок — загон под открытым небом, обнесенный жердями, где летом ночуют кони и другой домашний скот.

новым забором обнесли, отаву*

* Отава — трава выросшая на месте покоса.

выкосили. Сена до весны хватит. Пока табун на выгоне будет, а как снег ляжет, так сюда перегоним.

— Сам траву косил? — спросил воевода.

— Кто ж меня из града выпустит? — пожал я плечами. — Княгиня велела меня дальше ворот не пускать.

— Правильно велела, — усмехнулся Свенельд. — За стенами не спокойно. А нам отец завет дал, чтоб тебя, как зеницу ока берегли.

Ну, что на это сказать? Да и стоит ли?

— Что про своего не спрашиваешь? — варяг пинком поддал крысу, выскочившую на проход.

Та с визгом взвилась в воздух, шмякнулась о стену и затихла.

— Что-то больно много их развелось, — сплюнул воевода на окровавленный трупик.

— Много, — кивнул я. — Они двух котов сожрали не подавились. Мы уже крысюка*

* Крысюк (крысиный король) — старинный способ борьбы с крысами. В железную бочку сажают несколько крыс. Не кормят их, а дают только воду. Сбесившиеся от голода крысы начинают жрать друг друга. Когда остается самая сильная, ее выпускают. Эта крыса начинает уничтожать своих соплеменников. Оставшиеся в живых грызуны сбегают и долго не возвращаются в это место.

выкармливаем.

— Давно?

— Третью седмицу. Из десяти трое осталось.

— Забавно, — улыбнулся Свенельд. — Надо будет посмотреть. А эту дохлятину убери, — и варяг пошел к выходу из конюшни.

Я сжал зубы, нагнулся, подцепил трупик за хвост и поспешил за воеводой.

— Так, как там отец?

— Жив Малко. Чего ему сделается? — бросил через плечо Свенельд.

Меня от слов его передернуло. Обида за отца резанула. Унизил его варяг, именем холопским обозвал.

— Его летом отбить хотели, — Свенельд не заметил моей обиды, — Только не по зубам вашим стены любичские оказались, — он довольно потер руки. — Кто там у вас шрамом на роже красуется?

— Это Путята, — ответил я, а у самого аж сердце зашлось.

— А-а-а, — кивнул варяг. — Знакомец. Ты ему при случае предай, чтоб бросал дурью маяться. Только хуже делает. Малко сам за ним не пойдет. Он договор поклялся блюсти.

— Как я ему передам? — пожал я плечами, с трудом сдержал радость.

Жив, значит, болярин, и отец жив. Помоги им Дажьбоже.

— Хватит прибедняться, — махнул Свенельд рукой.

И тут снаружи раздался рев походной трубы.

— Вот и хозяева возвращаются, — воевода ускорил шаг. — Как бы Дарену не разбудили, — добавил он тихо.

Вышли мы из конюшни на белый свет.

Шумным он мне показался.

На майдане*

* Майдан — площадь. То же, что у Древлян называлось стогнем.

перед теремом не протолкнуться. Ворота на распашку. Дружина пришла.

Горлопанят. Радуются, что в Киев живыми вернулись. А сами замызганные. Плащи алые от грязи черными стали. Будет прачкам работа. Кони загвазданные. По запыленным крупам тонкими ручейками пот бежит. Это уже нам, конюхам печаль.

Холопы меж конников суетятся. Банщики дрова волокут. С дороги баня первое дело. Мясники быка завалили. Кухари окорока из подполов достали, бочки с хмельным выкатили, пир готовят.

Гвалт на майдане. Суматоха.

Увидели воеводу, еще пуще зашумели.

— Давай, — мне Свенельд велит, — сюда конюхов! Да, пошевеливайся. Коней принимать надо...

Я крысу дохлую в сторону откинул и поторопился за Кветаном...

Старшего конюшего я решил искать на сеновале чердачном. У него тут схорон был. Пробил старшой в сене лаз. Лежку себе обмял, рогожкой застелил. Тепло в лазе, травой луговой медвяно пахнет. И спать хорошо, и холопок податливых пользоваться. И схорониться можно, чтоб хозяевам под горячую руку не попасть.

Обошел я конюшню. Поднялся по лестнице приставной на чердак. Свежим сеном он до конька забит.

— Кветан, — заглянул я в лаз. — Ты тут?

— Воевода ушел? — из темной дыры голова высунулась.

Лохмат был старшой конюший. В бороде трава сухая застряла, в волосах вклоченных былинка торчит. Ни дать, ни взять — домовой.

— Ушел, — я ему. — Велел коней принимать. Дружина вернулась.

— Слава Перуну и всем Богам. Пронесло, значит, — кивнул он.

Былинка с волос соскочила.

— Говоришь, ратники пришли? — рядом с головой конюшего еще одна показалась.

Девка ладошкой с кокошника сено смахнула.

— И ты тут, Томила? — улыбнулся я.

— А что? Нельзя что ли? — улыбнулась она в ответ.

Первой из лаза выбралась, косу поправила, сарафан отряхнула. Подбоченилась и мне подмигнула задорно.

— Радуюсь, что теперь к Алдану бегать будешь? — зло сказал конюх, на четвереньках из сена выполз, на ноги встал.

— А что? — снова спросила девка, и сама же ответила:

— Алдан мужик видный. При Свенельде в десятниках. Не то, что ты замухрышка. Посторонись-ка, — она меня бочком подвинула и с чердака спустилась.

— Ох, Добрыня, и чего с нами девки делают, — вздохнул Кветан. — Вот кажется, кто она? Ну, Томила эта. Доярка простая. Но до чего горяча...

— Она тебя, что? Как корову доит? — не сдержал я смеха.

— Как быка, — загоготал старшой. — Пошли что ли? Работать надо...

Мы успели вовремя.

Притихли ратники на киевском майдане. Расступились. Проложили живой коридор от ворот града до терема княжеского. И по этому коридору на Старокиевскую гору въехали хозяева и господа земли Русской — княгиня Ольга и каган Святослав. Мать и сын...

Каган Киевский, Святослав, на отцовском коне сидел. Белом, как облако. Ингварь его все больше в поводу водил. Не любил Ольгин муж верховым быть. Привык с малолетства, чтоб у него ведущий имелся. Сначала дядя, потом Асмуда за поводыря держал, Ольгу, как мать родную слушался. Так ему легче было. Если что не так — не с него, а с поводыря спрос. Оттого и не стал он сам ведущим.

А конь его, Облак, свободу пуще хозяина любил. Но меняются времена. От вчера к завтра бегом бегут. Был вчера Облак символом власти кагановой, сегодня под молодым Святославом на волю рвется. А завтра... кто знает, что завтра будет?

Никто...

Набьют завтра кишки коня каганова его же мясом, повесят над костром, в дыму закопят. Будет не конь, а снесь для голодного. А то и до человеческих рук не доживет. Порвут волки. Сытью волчьей гордость конская обернется. И кому знать, как лучше? Снедью стать, или сытью? Все одно — конец один. Пустота. Стынь вечная. Так что гуляй, пока гуляется, гарцуй, пока гарцуется, а дальше — что Доля даст...

Обвыкся Святослав в звании своем. Надменно в седле сидит, подбородок высоко задрал. Малец себя и вправду властителем чувствует. Значит, не зря с мамкой по землям Русским прошел. И Ладога, и Нов-город, и Русса старая, и Чернигов со Смоленском ему стремя поцеловали. Только Древляне при своих остались. Князь древлянский в Любиче узником, сын его в Киеве конюхом, а город стольный Коростень огнем пожгли. Вроде и кончился вовсе род Древы, Богумировой дочери*.

* Древа, Богумирова дочь — легендарная прародительница древлян.

Но нет.

Шалишь.

Иначе не сознался бы Свенельд, что древлянский люд, с Путятой во главе, хотел отбить Мала — князя бывого, из любичского заточения. А что сын его с дочерью на черной работе маются, так это не навсегда. Девять лет как сон пустой пролетят. На свободе всяк себе хозяин. Подождет земля Древлянская, когда снова голову поднять можно будет. И как знать, чем тогда сон девятилетний обернется?..

Эх, юность...

Кажется — подожди чуток и все, как мечталось, сбудется...

А Святослав, хоть и дите, а на коне, словно влитой сидит. Приучился, значит. К седлу приспособился...

Вспомнилось, вдруг, как я в свой первый поход ходил. Как задницу, с непривычки об седло стер. И друзья мои вспомнились. Славдя и Гридя. И болью по сердцу вдарило. Тоской резануло. Марена их в том походе нашла. Я уж вон, какой вымахал, а они так чадами и остались. Ну, да пусть им сладко будет в светлом Ирии, в Сварге небесной...

Отмахнулся я от прошлого. Не досуг мне старое ворошить. Как Белорев наставлял — вчера кончилось, завтра не пришло, значит, днем сегодняшним жить надобно. Вот и живу.

А княгиня хороша.

Гордая.

Кичливая.

Едва смотрит на своих воинов. Впрочем, ее ли это воины? Ратью-то Свенельд управляет, а у кого рать, у того и сила. У кого сила тот и прав. Только Ольга своего не отдаст. Норовиста, что та кобылка, на которой она в свой стольный город въехала, как сядешь на нее, так и слезешь.

И одежда на ней яркая. Не пыльная. Да и с чего ей пылиться? Это дружина по берегу шла, а мать и сын в ладье, по Славуте-Днепру спускались. Кони-то под ними не нужные. Отдохнувшие. Небось, не один день их вода днепровская качала. Соскучились по твердой земле, оттого теперь под седоками и выплясывают.

А на Ольге шапка соболем оторочена, охабень лазоревый лисьим мехом подбит, летник черевчатый золотой ниткой изукрашен, а вошвы на летнике жемчугами обсыпаны. Ожерелье на шее тесное, берегами расшитое. Камень алый с зеленым чередуется. А из подола узкий чоботок торчит, носком острым в стремя вставлен*.

*Охабень — дорожный плащ с капюшоном.
Летник — верхняя женская одежда. Надевался сверху рубахи.
Вошвы — принадлежность летника. Вшитые украшения.
Чоботы — полусапожки с остроконечными носками.

Ратники мечами в щиты застучали. Приветствуют кагана и княгиню.

А те посреди майдана поводья натянули.

Встали.

— Вот и наше время пришло, — шепнул Кветан и меня в бок пихнул. — Пошли что ли?

Вышли мы на майдан. К всадникам подошли.

— Дозволь, матушка, — с поклоном земным сказал старшой конюший, — коней принять.

Взглянула на нас Ольга. На мне взгляд остановила.

— А чего это ты, Добрынка, без поклона подошел? — строго спросила.

Выдержал я ее взгляд.

— Не приучен я спину зазря гнуть, — говорю. — Не закуп я твой. Не рядович. И в бою ты меня в полон не брала. Так что долгов перед тобой у меня нет. Коли конюхом меня определила, так на то воля твоя. Я слово дал и договор держу. Только ниже чем я есть, меня сделать не в твоей власти.

Опешила она от этих слов. Растерялась. Глаза в сторону отвела. А дружинники, что рядом стояли, возмущенно зашумели. От них и по всему майдану гул пошел. Дерзким я, видать, показался.

Один ратник из ряда вырвался. На меня бросился.

— Как ты посмел, холоп! — кричит.

Меч плашмя повернул. Хотел меня поперек спины приласкать. Да усердие свое не рассчитал. Слишком много прыти в удар обидный вложил. Ушел я в сторону. Только клинок в пустоте просвистел. Потерял вой опору. Заваливаться начал. А я под него подсел, да в бедро его подтолкнул. Опрокинулся ратник. Под ноги каганову коню отлетел. Грохнулся. Хлопнул щитом червленым по земле. Громко у него получилось. Заграяли вороны киевские. В небо взметнулись.

И конь от этого грохота перетрусил. Взвился Облак. Вздрыбился. Святославу бы к шее его прижаться. За луку седельную рукой ухватиться. Только не сумел мальчонка. Ухнул через конскую спину. Только сапоги сафьяновые, бисером расшитые сверкнули. Головой в землю полетел.

Не знаю даже, как я успел? Подхватил его на руки. Расшибиться не позволил. Так все быстро случилось, что никто ничего понять не смог. Только что каган верхом сидел, а

уже у меня на руках барахтается. А когда осознали, что произошло, на меня всей гурьбой кинулись. Дай им волю — затоптали бы меня в ярости. Только воли им не дали.

— Стойте! — Ольга ратников окликнула.

Все и встали.

Мечи вздыблены...

В глазах ненависть...

Покромсают. Порвут на куски за кагана своего.

А я Святослава прикрыл.

— Не напугался? — шепчу.

— Не-а, — он мне тоже шепотом.

Вот и слава тебе, Дажьбоже. Не позволил дитю шею свернуть...

А мальчонка рассмеялся вдруг.

— Мама, мама! — кричит. — Видела, как я с Облака кутырнулся?

И опустились мечи. И ненависть в глазах на радость сменилась. Не убьют меня, значит. Пока не убьют.

— Видела, — облегченно вздохнула княгиня. — Что ж ты так неловко?

— Зато быстро, — и вся надменность улетучилась.

Мальчишка — и есть мальчишка.

Я его на ноги поставил. Он к матери побежал. Не стала княгиня ждать, когда я у нее кобылку принимать буду. Сама спешила. Обняла сына. К себе прижала.

— В порядке ты? — беспокоится.

— А чего мне сделается? — каган из материнских объятий выбираться начал. —

Пусти, — говорит, — раздавишь.

Нехотя Ольга объятья свои ослабила. Святослав на свободу выбрался, да к терему побежал. Там его уж сенные девки ждали.

Княгиня ему вслед посмотрела. Улыбнулась. И к ратнику прыткому обратилась.

— Как тебя зовут? — спросила.

А тот уж на ноги вскочил. Стоит — ни жив, ни мертв.

— Претичем соратники называют, — отвечает.

— За то, что верность свою проявил, быть тебе, Претич, боярином. Свенельд! — позвала она воеводу.

— Здесь я, княгиня, — и верно, воевода тут, как тут.

— Сотню под начало Претича дашь?

— Дам, княгиня, — кивнул Свенельд и на меня глазищами зыркнул. — А с этим что?

Повернулась ко мне Ольга. И вновь наши взгляды встретились...

— А ведь справедливы его слова, — сказала она. — Правда на его стороне. В договоре нашем речи не велось, чтоб он спину гнул. Хоть и пленный, а право имеет. Благодарю тебя, Добрын, за то, что сына спас, — и вдруг сама мне в пояс поклонилась...

Свенельд избил меня вечером того же дня. За конюшной. У навозной кучи. Отхлестал меня чересседельником, точно нашкодившего кота. И повод нашелся. Дескать, плохо у его жеребца вычистил. Он во время пира продышаться из терема вышел, в конюшню заглянул. Вроде по коню соскучился. В денник дверь отворил, да сразу в кучу конскую и вляпался. Сапоги замарал. Ух, и взвился он! А тут и я под горячую руку подвернулся. Вот и получил выволочку.

Я не сопротивлялся. Знал, что по-другому нельзя. Терпел. Только старался, чтобы ремнем по лицу не досталось. Да кончиком глаз мне не выстегнул. Ведь истинная причина его недовольства посверху плавала. Словно дерьмо на воде.

Гневался он оттого, что я посмел свой норов принародно показать. Да еще и в правых оказался. Ольга и та передо мной спину согнула. Как тут не разгневаться? Особливо когда хмель внутри бычится. Наружу лезет.

А я боль сносил, а в душе со смеху покатывался. Не сдержался варяг. Всю дурь выставил. Пусть покуражится — с меня не убудет.

Увидал он, что побои его меня не сильно огорчают, разозлился еще пуще, чересседельник на землю кинул, плюнул в сердцах и обратно пировать пошел.

А я отлежался, на ноги встал, слышу:

— Что, Добрынюшка, худо тебе?

Это Томила с чердака за нами тихонько наблюдала.

— Ничего, — я ей в ответ, — небось до свадьбы заживет.

— Ну, лезь ко мне на сеновал, я тебя пожалею...

Губы у Томилы сладкими были.

Руки нежными.

Плоть жаркой.

От жара этого легче на душе. Да и рубцы от ремня жечь перестало. Кости целы, а мясу, что ему сделается? Отболит, отнедужит и опять, как новое. А ласка женская лучше любого снадобья раны лечит...

Рано в тот год зима пришла. В одну ночь мороз землю схватил и не отпускал больше. Снега навалило по самые крыши. Зябко стало. Знобливо. Хорошо хоть ветры Стрибожичи не сильно лютовали. А то ни дать, ни взять Исландия — Ледяная Земля.

Зимовал я там как-то, когда с Могучим Ормом и хевдингом Торбьерном по Океан-Морю гуляли. Ох, не приведи Дажьдбоже там опять оказаться! С воды ветрище с ног сдувает. Под ногами пустошь голая. Ни куста, ни деревца — укрыться негде. От голодухи живот к спине прирастает. Одно слово — чужбина.

Здесь, за стенами городскими, зимовать сподручней. И кормят сытно. И одежду теплую нам ключники выдали. Живи — не хочу.

Только не хочется жить.

Тоска меня есть стала.

По сестре, по отцу, по Любаве...

Чуть на стену не лез. А волком по ночам точно выл. Правда, тихонько, чтоб остальных конюхов не будить. Зимой несвобода острее гложет. Забористей.

Днем еще ничего. С конями возишься. Не до мыслей дурных. Только зимой дни короткие. Не успел оглянуться — уже темень, хоть глаз коли. В темноте-то много не наработаешь. Лежишь колодой, во тьму глаза таращишь, а в голове кавардак. Может, зря мы уговорам деда Болеслава поддались? Может, биться нужно было до последнего? Лег бы порубанный тогда в Коростене, не маялся бы теперь.

Но если бы, да кабы...

Так не бывает. Есть только то, что есть, и другого нам не дадено. И значит принимать нужно все, как должно. Но как быть, если не принимается? От того и тоска.

Даже не знаю, что стало бы со мной, если бы серость дневная и грусть ночная надо мной верх взяли? Может, так и зачах бы на радость недругам? Только радости им такой я не дал...

26 ноября 947 г.

— Эй, Добрыня, подымайся! — голос Кветана вырвал меня из сна.

— Что? — потер я глаза, стараясь прогнать дрему. — Что случилось?

— Как что? — удивился конюх. — Скоро уж петухи запоют. Пора коней седлать. Княгиня с сыном сегодня на охоту собирались, или забыл?

— Да, помню, — я потянулся до хруста в костях, — только мне-то что? Я ведь опять в граде останусь.

— Так всех конюхов с собой берут, на дневке лошадей греть. Значит, и тебя то же. Остатки сна, словно ветром сдуло.

— Точно? — схватил я старшего за рукав.

— Свенельд велел, — кивнул мне Кветан. — Собирайся.

За последние полтора года мой Мир сжался до размеров Киевского града. Сто пятьдесят шесть шагов с восхода на закат, от дубовых ворот до каменного княжеского терема. Сто девятнадцать шагов с полуночи на полдень*,

* Восход, закат, полночь, полдень — в данном случае стороны света. Восток, запад, север и юг.

от конюшен до бани. Четыреста пятнадцать дней, словно птица в силке, словно рыба в неводе. От конюшен к бане, от ворот до терема. И только над головой синее небо, да облака вольные.

Даже боязно за ворота выбираться. Видно, привык в неволе. Настоящим холопом стал.

Нас, семерых конюхов, Кветан на санях со Старокиевской горы свез. По темну, поперед всех.

Буян бойко трусил. Под горку-то сподручно ему. Только снег под полозьями поскрипывает. А вокруг посад Киевский. Горожане проснулись уже. Кто управляется, а кто и ругается нам в след, дескать, какого лешего ни свет, ни заря окрестных кобелей растревожили?

А кабыздохи глотки дерут. От лая заходятся. Из кожи вон лезут, чтоб усердие свое хозяевам показать. На мерина нашего кидаются. Стараются его за бабку ущипнуть. Только тот на них и ухом не ведет. Знай себе, копытами о дорогу стучит. Из ноздрей пар валит. Ни дать, ни взять — Сивка-Бурка из бабулиной присказки.

Один кобелишко, самый бойкий, под ноги мерину кинулся — за то и поплатился. Кветан его кнутом по спине ожег, а Буян еще и на хвост наступил. Заверещал кобелек. Запричитал, словно плакальщица на похоронах. Рванул в ближайший подворот. Да в

подвороте и застрял. Скулит с перепугу. Лапами по снегу елозит. А вырваться из щели не может.

На смех его конюхи подняли. Засвистели. Заулюлюкали. А мне его почему-то жалко стало. Уж больно он на меня похож. Я вот так же застрял. И ни вздохнуть мне в неволе, ни выдохнуть.

— Ты чего, Добрыня, пригорюнился? — пихнул меня в бок один из конюхов.

Котом его наши прозвали. Уж больно он до сметаны охочим был. Говорил, что от сметаны в нем сила мужская ярится, наружу просится. Сам из дреговичей, еще в малолетстве его в полон взяли. Восьмой год в холопах. Скоро вольную получит, только на волю он сильно не рвался, Киев ему родиной стал. Доярки его часто сметанкой баловали, души в нем не чаяли. А он в доярках. А еще в кухарках, свинарках и прачках. Никого лаской не обходил. Я все поражался — и как это у него так лихо выходит: парой слов с девкой обмолвится и, уже глядишь, на сеновал поволок. Одно слово — кот мартовский.

— Так разве ж я горюнюсь? — отмахнулся я от Кота. — Отвык просто от раздолья свободного. Надышаться никак не могу.

— Это ничего. Сейчас из посада выскочим, на простор выберемся, вот тогда и надышишься.

И верно. Вскоре посад позади остался. Мы в чистом поле оказались. Запорошило все вокруг. Снега непролазные. Кветан в сугробы править не стал. Выбрались мы на лед небольшой речушки и дальше покатали. Пару раз Буян на льду оскользнулся, а потом ничего, приноровился. Еще веселей сани полетели.

А над головой небо бездонное. Звезды с кулак. Воздух морозный, чистый, вкусный. Пригляделся — как будто на полночь едем.

— Старшой! — кричу. — Далеко ли торопимся?

— Нам до рассвета в Ольговичи успеть надобно, — Кветан в ответ.

Значит, Малушу увижу. Кровиночку родную. Сестренку. Отлегло от сердца. Радость пришла. Слава тебе, Дажьбоже.

— Добрынюшка! — Малуша ко мне бросилась.

Подхватил я ее на руки, закружил. И причудилось вдруг, что мы в Детинце Коростеньском, а не на подворье княгини киевской.

— Соскучилась, сестренка?

— Ох, соскучилась, — она в ответ и заплакала.

— Ну, чего ты ревешь? — я ей тихонько. — Смотри, как за это время выросла. Не маленькая уже и слезы свои оказывать недругам не должна.

А она ручонками вцепилась в меня крепко накрепко:

— Ой, Добрынюшка, — шепчет в ответ, — истосковалась я вся.

— Понимаю, Малушенька, только потерпеть надобно. Вот и батюшка велел передать, чтобы крепилась ты. Чтоб держалась, как княжне Древлянской подобает.

— Так ты видел его? Как он там?

— Нет, — покачал я головой, — не видел. Он мне весточку передал. Все с ним в порядке. И о нас с тобой у него душа болит...

— Здраве буде, княжич, — это к нам Загляда с Владаной подошли.

— Был княжич, да весь вышел, — я им в ответ, — в конюхах я ныне у кагана Святослава.

— Для нас, Добрын, — Владана сказала, — ты как не рядись, все одно княжичем останешься.

— И на том спасибо, — улыбнулся я не весело. — Как вы тут, девки?

— Ничего, — Загляда вздохнула.

— Не обижают вас?

— Была тут одна, — Владана косу поправила, под кокошник ее запрятала, — уж больно нравилось ей княжну шпынять.

— И что? — напрягся я.

— Кипятком она ошпарилась, — Малуша мне тихонько. — Вроде как нечаянно, — а сама на Владану кивнула.

— Не бойся, княжич, — Загляда мне улыбнулась, — мы Малушу в обиду не дадим.

— Помогай вам Дажьбоже, — поклонился я им.

— Добрыня! — слышу, Кветан кричит. — Поспешите!

— Все, девки, пора мне.

Обнялись мы, я Малушу поцеловал и к конюхам поспешил.

— Коли батюшку увидишь, кланяйся ему! — мне вдогонку сестренка крикнула.

— Обязательно, — оглянулся я, а сам подумал:

— Теперь уж скоро увижу.

— Ну, что, Добрыня, повидался со своими? — спросил меня Кот, когда я в сани забрался.

— Повидался, — ответил я. — А чего мы в Ольговичи-то заезжали?

— Так ведь все одно по дороге нам, — улыбнулся Кветан.

— Ой, спасибо, братцы, что уважили.

— Из спасибо шубы не сошьешь, — смеется Кот, а у самого, гляжу, на усишках сметана след оставила.

— Так ты и без шубы в накладе не остался, — пихнул я его. — Небось, уж кого-то ублажил?

— Не-е, — смеется он в ответ, — не успел. За титьки подергал только. А титьки, я тебе скажу, знатные. Во-о-от такие!

— Ты на себе-то не показывай, — засмеялся кто-то из конюхов.

— А что так? — удивился Кот.

— Да, говорят, что покажешь на себе, то и вырастет.

— Чур, мя! Чур! — запричитал Кот и захлопал себя по груди.

Тут уж все не выдержали. На гогот его подняли.

— Но-о-о! — крикнул Кветан и за гужу дернул. — Давай, Буян, выноси!

И сани наши дальше покати.

До заимки мы добрались ближе к полудню.

На опушке, запорошенного снегом бора, на берегу скованной морозом речушки, стояло обнесенное частоколом просторное подворье. Даже не подворье, а крепостица малая. Охотничья заимка кагана Киевского. Заложена еще Хольгом, захиревшая при Ингваре, при сыне его, Святославе, заимка снова востребованной стала. По осени подновили холопы частокол, начали ров вокруг стен копать, да не успели до зимы. Только мосток подвесной перекинули, да еще на берегу пристаньку соорудили. Только пристань по зиме без надобности, а вот мосток, как раз впору. По этому мосту мы и въехали в тесовые ворота, на широкий двор.

Шумно нас заимка встретила: гомоном многоязыким, лаем собачьим, суматохой холопской. Охотничьи люди суетятся, псари на собачек покрикивают, стольники с кухарками перебранку затеяли — хозяйева на подходе, а снедь еще не готова. Ключник на банщиков орет, какого, дескать, хрена, рано топить начали? Дрова прогорели — парные выстужаются. Одним словом — к большой охоте подготовка идет.

Увидел нас ключник, оставил банщиков в покое, на Кветана накинулся:

— Что ж вы, Маренины выкормыши, так поздно приехали? В конюшне печь не топлена, хозяйских коней застудить хотите?

— Ты, вот что, — в ответ ему Кветан спокойно, — за своими делами следи, а мы со своими сами управимся, — и к нам:

— Вылезай, ребя. Кот, ты к кухаркам давай, чтоб тотчас у нас еда была. А то отошдали с дороги. А ты, — опять к ключнику повернулся, — показывай, где тут конюшня у вас? Да, поживей. Некогда нам тары с барами разводить.

От такого напора ключник аж поперхнулся. Красным от злости стал, только что он, заимщик простой, мог княжескому конюшему возразить? Кивнул, только молча, рукой махнул — пошли мол.

Конюшня просторной оказалась. И холодной донельзя. Иней по стенам, изморозь по полу. В закромах не укрытых овес серой плесенью схватился. Тут уж наш старшой не выдержал, ключнику в бороду вцепился:

— Ах ты, гнида! — завопил. — Добро хозяйское на потраву пустил! — и хлоп ключника кулачиной в ухо.

Кулак у Кветана не большой, но увесистый. Отлетел ключник, в овес подгнивший зарылся. Руками-ногами забархтал:

— Убивают! — кричит. — Живота лишают!

Тут на крик дворня подскочила.

— Ну, что, ребя, погреемся? — говорит Кветан, а сам рукава у зипуна засучивает.

Один из банщиков взглянул на ключника и нам тихонько:

— Всыпьте ему, ребяташки, а то совсем нас замордовал, скот недорезанный.

Только один из стольников его одернул:

— Ишь, понаехали тут, права качать! Бей киевлян! — своим крикнул.

И завертелось.

На меня трое кинулись.

Я сразу первого в пузо головой боднул. А пузо мягким оказалось. Разожрался стольник на дармовых харчах. Голова моя, точно в подушку пуховую погрузилась. Охнул налетчик и осел. В сторонку отползать стал, чтоб в суматохе не затоптали.

А тут уж второй на подлете. Ручищи выставил, столкнуть меня хочет. Не больно я ему противился. Позволил за грудки схватить, а сам на спину упал, ногой ему в живот уперся, да еще подпихнул для скорости. Перелетел он через меня. В ключника, что из закровов выбирался, врезался. Опять ключник в овсе зарылся, да не один, а с товарищем. Вдвоем-то веселей в зерне кутыряться.

Здесь и третий подскочил. Врубился он мне плечом в грудь, чудь дух из меня не выпустил. Отлетел я назад, шагов на пять, а, отлетая, за какого-то дворового зацепился. Он как раз, на одного из конюхов надел, и несдобровать бы нашему, да я его супротивника за собой уволок.

Не ожидал тот. Равновесие потерял, оскользнулся и наземь бахнулся. А я на него. Так, что приземление мое мягким оказалось. Дворовый подо мной только крикнул. А я уже на ногах стою.

— Зашибу! — крик от дверей раздался.

Гляжу — Кот от кухарок вернулся. Подмышкой туесок со снедью, в руке корчажка. Не долго думая, он корчажку об голову кому-то тресь. Лопнула глина, сметана с кровью вперемежку потекла.

— А-а-а! — страшно завопил раненный. — Мозги вышибли! — и из конюшни рванул.

— Эх, — вздохнул Кот, — хороша сметанка была, — туесок со снедью в ясли у стены отложил и в самую гушу побоища ринулся.

Дальше за ним следить некогда было. На меня опять навалились. Одного я быстро положил, а вот второй покрепче оказался. Здоровый бугай. И повадка у него сноровистая. С наскока у нас ничего не получилось. Я ему в ухо — он угнулся, он мне в глаз — я отбил. Так и пляшем, друг перед другом, а верх ни один взять не может. Вцепились мы друг в друга, по конюшне закружились. И чувствую я, что замашки у него знакомые. Вгляделся — пресветлый Дажьбоже! Это же Красун! Давний знакомец мой! Вместе в Коростене в послухах ходили. Бородой зарос. Окосматился. Оттого я и не признал его сразу.

Не сдержался я, улыбнулся.

— А не ты ли, паря, — говорю, — меня на закорках по стогню Коростеньскому целый день таскал?

Он от неожиданности хватку ослабил. Всмотрелся в меня, а потом, как заорет:

— Добрыня? Княжич! — совсем он меня отпустил, к своим повернулся:

— Вы чего, волки?! — перекричал он шум драки. — Совсем нюх потеряли?! На кого руку подняли? Это же княжич древлянский, Добрын Малович! — и вдруг бах передо мной на колени.

— Ты чего? — я ему тихо. — Не дури.

А сам вижу, что замерла потасовка. Опустились руки. Не нашли своей цели занесенные кулаки.

— Ласки прошу, княжич, — Красун на меня снизу вверх посмотрел. — Не признал тебя сразу. До нас слухи дошли, что сгноили тебя варяги в Киеве.

— Живой я, как видишь, — сказал я и руку ему протянул. — Поднимайся. Нечего порты протирать.

— Ага, — сказал Кот весело, у самого юшка из разбитого носа бежит, а он лыбится, — так мы и позволим варягам над Добрыней куражиться. Не дождутся, — и засмеялся.

А Красун с земли поднялся. Обнялись мы точно побратимы. Чуть не раздавил он меня в своих объятьях. Гляжу — и другие с нашими брататься начали.

— А не плохо погрелись, — это Кветан голос подал. — И конюшню заодно прогрели.

И верно. От нас, дракой разгоряченных, пар валит, как в бане. Вроде, теплее стало.

— Кончай веселиться, — в конюшню вбежал мальчонка-псарь. — Где ключник? Княгиня с сыном уже близко! По льду скачут, и Свенельд с ними!

— Тута я! — выбрался ключник из закровов. — Все по местам! — велел. — И чтоб о том, что было здесь, никому ни слова! Кто донесет — голову откручу!

— Во-во! — кивнул Кветан. — А я помогу! Конюхи! Готовься коней принимать! Добрыня! Печь топить, да овес просеивать! Кот! Снедь-то сберег?

— А как же, — Кот достал тусок из яслей, — вот она.

Через мгновение опустела конюшня.

— Нет, Добрыня, и не рви мне душу, — тихо сказал Красун и помешал кочергой догорающие поленья.

— Неужто не скучаешь по Древлянскому бору? Не хочешь на Родину взглянуть? — продолжал я уговаривать его.

— Не ждет меня никто на Родине, — пожал он плечами. — Одни головешки от Коростеня остались. Отца-то моего помнишь?

— Как не помнить. Знатным конюхом был Колобуд...

— То-то, что был, — взглянул на меня Красун. — Когда варяги дружину княжескую распустили, а коней на Русь забрали, он да я не удел остались. Я-то попервости ничего, а он закручинился. Тосковал по коням сильно. От тоски и помер. За два месяца убрался. А за ним и мать. И стал я сиротой круглой. Помаялся на пепелище чуток и к полянам подался. Подрядился на три года в охотный люд. Здесь и кормежка, и одежда, и не обижают сильно. Лучше уж в рядовичах ходить, чем с голодухи помирать. А бор, он везде бор. Что тут, что там.

— А ты слышал, что Путята снова дружину древлянскую собрал?

— Слышал, — кивнул Красун. — Только мне ратное дело не в радость. Силой Дажьбоже не обидел, только отваги воинской не дал. Так что прости, княжич, но я здесь, на заимке останусь. Мне со зверьем сподручней.

— Как знаешь, — сказал я ему. — Только все одно — рад я тебя повидать...

Красун пришел ко мне после захода солнца. Как раз Ольга с сыном, да Свенельд со своими отроками пировать сели. А мы с конями управлялись. Вычистили их, корму задали. Потниками укрыли, чтоб не застудились ночью ненароком.

Свенельд-то, когда своего жеребца в конюшню заводил, на меня покосился.

— Что, Добрынка, — говорит, — радостно тебе за стенами Киевскими оказаться?

Я только плечами пожал. А он мне повод на руки кинул, и сказал:

— Скажи спасибо княгине. Это она велела тебя на простор ненадолго выпустить.

Бойся, что в Киеве ты совсем зачахнешь. Смотри мне, — похлопал он жеребца по шее, — если что, головой мне за коня ответишь, — и ушел.

Я коня в стоило завел, тут и Красун заглянул...

Мы сидели у горячей печи давно. Уже и хозяева после пира заснули, и холопы на покой отправились. И конюхи мои на сене захрапели. А нам все не спалось. О былом вспоминалось: как в послухах ходили, как отец нас на стогне бороться заставлял, как Жарох-змееныш меня на Посвящении отравить хотел...

Только о грядущем у нас помечтать не получилось. Видно у каждого своя дорога. У Красуна — своя, у меня — своя. Так уж Доля с Недолей захотели...

— А про Ивица ты ничего не знаешь? — спросил я его.

— Они с отцом в Нов-город подались, — ответил Красун и зевнул. — Такие оружейники везде в почете. Так что не пропадут.

— Может, и про Любаву слышал? — наконец, задал я ему вопрос, который меня мучил все это время.

— Вот про зазнобу твою, — покачал он головой, — я ничего не ведаю. Может, она с родичами схоронилась? Ведь Микулино подворье далеко от Коростеня. Могли варяги и мимо пройти.

— Да, боюсь, что не прошли. Свенельд дорогу на их подворье знает.

— Так ты бы у него и спросил, — сказал Красун и снова зевнул, да сладко так.

— Если бы, что дурное случилось, он бы сам первым рассказал. А спрашивать у него не хочу. Зачем мне ему в руки лишнее против себя же давать?

— Это правильно, — Красун кочергу в сторонку отложил, встал, потянулся, — Ладно, Добрыня, — говорит, — пойду я... посплю малость. Завтра гон. Мне весь день по сугробам бегать...

— Иди, — я ему. — Надеюсь, еще свидимся.

28 ноября 947 г.

Комок мягкого снега сорвался с еловой лапы и упал на землю.

Я вздрогнул.

— Напугал зараза, — выругался тихонько и побрел вперед.

Временами, зарываясь по колено в снег, осторожно перебираясь через поваленные деревья, прорываясь через заросли дикой малины, я уходил все дальше и дальше.

Замерз так, что пальцы на руках отказывались слушаться. Заледенели. Сколько я не дул на них — не помогало. С ногами было еще хуже. Я их почти не чувствовал. Но, не смотря ни на что, упрямо продолжал идти по заиндевевшей чаще.

На три шага вдох, на один — выдох... и снова вдох... выдох...

А погоня все ближе. Все громче раздается рев охотничьих рогов. Уже слышен собачий лай. Звонко в замороженном бору трещат ветки — всадники пробиваются сквозь бурелом.

И эти жуткие звуки заставляют быстрее переставлять ноги. Спешить, не смотря на холод и усталость. Бежать, точно затравленный волк. Забыть обо всем. Подавить в себе все чувства, кроме одного — страха. Он у меня сейчас в помощниках. Подгоняет. Не дает расслабиться. Сдаться на милость загонщиков. Дескать, вот он я, хоть режьте, хоть ешьте! Захотел сбежать, да не сподобился.

Силенок не хватило.

Кишка тонка оказалась.

Врешь!

Сам себе врешь и не морщишься. Хватит силенок. И страха хватит, чтоб оторваться от охотников.

Ни дичина я, не зверь лесной, а значит смогу уйти. Смогу на волю вырваться...

На три шага вдох... на один — выдох...

И не знал я тогда, что зря спешу. Не за мной погоня. Что меня еще не хватились. Что все забыли обо мне. Просто следопыты подняли с лежки стадо оленей. Огромного быка и трех важенок.

Взметнулось стадо. Уходит от людей. Только вот незадача — пошли олени в ту же сторону, что и я. Оттого и слышал я за своей спиной охотников. И бежал, бежал без оглядки.

Зачем бежал?

Не знаю.

До сих пор понять не могу, как же я на такое решился? Думаю, что внезапная свобода мне голову вскружила. Одурманила. К безумству подтолкнула. Только безумный мог, ни с того, ни с сего, рвануть в чащобу, не разбирая дороги. А я рванул.

Подвернулся случай, и ноги сами понесли. Словно неведомая волна меня подхватила.

В себя пришел, лишь, когда о валежник споткнулся, да в сугроб угодил. Очнулся. Напугался. Только понял, что назад не вернусь. Не хочу обратно холопом становиться. На волю хочу.

На волю!

— Ничего, — шепчу себе упрямо, — вот речушку эту перешагну, со следа загонщиков собою. А там уж легче будет. В землю Древлянскую уйду. Путятю отыщу. Войско соберу. Отобьем батюшку. Из замка Любичского его высвободим. Потом Малушу из полна возвернем. Еще посмотрим, на чьей стороне Правь окажется?

А речушка быстрая. Омутами и водоворотами со стужей борется. Хоть и схватил ее мороз, да не слишком крепко. Ледок под ногами тонкий. Трещит. Вот-вот проломится. Но Дажьбог защитил. Провалиться не дал.

Выбрался я на берег. Дух перевел. Ладонь о ладонь потер. Только шаг сделал — за спиной треск страшный раздался. Оглянулся я, и отлегло от сердца. Не люди это — важенка. Видно пугнули ее охотники, вот она в бега и пустилась. Только в этом лесу каждый сам за себя, как может, так и спасается.

Не стал я время терять, дальше пошел. А важенка речушку перемахнула, рядом со мной проскочила, и дальше в чащу побежала.

— Эх, Рожаницина дочь*,

* Рожаницина дочь — самка оленя считалась животным воплощением женской ипостаси Рода.

— посмотрел я ей с завистью вслед, — мне бы твои ноги...

Договорить не успел, как за спиной снова треск раздался. И голос человеческий:

— Здесь она прошла! Вон и сход к реке свежий!

Вот от этой напасти побережься стоило. Упал я за ель поваленную, ни жив, ни мертв. Только сердце заячьим хвостом в груди трепыхается. Догнали все-таки. Выследили. Но живым я им все одно не дамся. Костями лягу, но в Киев обратно не пойду.

Выглянул я тихонечко. Вижу, всадники на лед спускаются. Двое всего. Присмотрелся — так это же Ольга. И Красун с нею. Вот молодец! Решился таки. И княгиню за собой заманил. Слышу, как кричит он ей:

— А важенка жирная! Не успела еще наголодаться! Мы ее на том берегу нагоним!

Я уже подниматься из-за елки начал, хотел ему рукой помахать — давай, мол, сюда, и варяжку прихвати, она нам теперь сгодится. Да не успел.

Лед под ними треснул, и ахнули всадники в полынью — брызги в небушко.

Схватила их река, водоворотом закрутила. Кони копытами по ледяной шуге бьют, люди в холодрыге барахтаются. И рады бы из воды на сушь выбраться, да не могут. А одежда тяжелая. Мех влагой студеной напитался, на дно потянул. Держит речка добычу свою, не отпускает. А топляки кричат в страхе, за жизнь свою борются, из последних сил стараются. Только мало сил. Вот-вот одолеет их быстрина. Заглотит пучина Водяному на забаву.

Я долго раздумывать не стал — на выручку кинулся. Выскочил из укрытия своего и к полынье поспешил. Слетел с берега, лег на лед, ногами от земли оттолкнулся и заскользил.

— Держись! — ору, а сам кушак обмерзшими пальцами развязываю.

Совсем руки отказали. Заледенели, точно сосульки. Рву узел, а толку никакого.

— Помогите! — на весь лес завопил, в надежде, что загонщики меня услышат, да на выручку придут.

Но не услышали видать, выше по реке прошли. И лай собачий, и крики их удаляться стали. Значит, нет мне на их подмогу надежи.

— Добрыня! — слышу, как Красун кричит. — Выручай!

— Сейчас... сейчас... — шепчу, а сам мороз и охотников, на чем свет ругаю.

— Помоги! — это уже Ольга заголосила.

Поддался узел.

Развязал кушак.

Бросил конец.

Не долетела опояска моя, чуть-чуть не долетела.

Подполз еще поближе, а под пузом лед потрескивает — как бы самому не провалиться.

— Красун, за коня держись! За луку седельную! — а сам опять кушаком размахнулся.

Удачно.

Схвати́лась княгиня за опояску накрепко, и откуда силы в ней? Я за кушак потянул, чую — к полынье сползаю. Развернулся к промоине ногами, на спину перекатился, уперся в наледь, опять потянул. Соскальзываю, в лед вжимаюсь, и Дажьдбога поминаю, чтоб сдюжить. А у самого кости от натуги трещат. Тяжело. Набухло Ольгино корзно, точно камень неподъемный.

— Скидывай плащ! А то он и меня на дно утащит!

Но она вцепилась в кушак, и боится руку от него оторвать, чтоб застежку на корзне отстегнуть.

А тут кобылка Ольгина взбеленилась. С перепугу совсем с ума сошла — принялась пуще прежнего копытами молотить. На коня Красунова полезла. Да со всего маху ногой Красуну по голове. Вскрикнул тот и обмяк.

— Красун! — заревел я. — Красун, очнись! — а он молчит.

И вижу, как рука его с луки седельной соскользнула, как водоворот его под лед затаскивает. Вижу, а поделать ничего не могу — в руках кушак, а на другом конце Ольга.

— Красун! — а у самого от бессилия слезы наворачиваются.

Еще сильнее за опоясок тащу.

У самого силы на исходе.

А она ни в какую!

— Дура! — это я княгине. — Ты конец-то на руку намотай, а другой с себя плащ рви! Не удержу ведь! Отпущу!

Видно дошло до нее, что не шучу я.

Отстегнула застежку.

Ушло корзно под воду вслед за Красуном.

Дальше — легче.

Выволок я ее на твердый лед, откинулся навзничь, воздух ртом хватаю, чтоб дух перевести. Княгиня на четвереньках ко мне подползла. Мокрая вся. Вода с нее ручьями бежит. У самой от холода зуб на зуб не попадает, а она, из последних силенок, по щеке мне ладошкой залепила.

— Это тебе за дуру, — просипела, и рядышком рухнула.

Вот и мне бы немного полежать, с силами собраться, но только некогда. На Ольге одежда стала коростой морозной покрываться. Совсем заледенела баба. Жалко ее. Она хоть и варяжка, и лукавством своим из меня, княжьего сына, конюха бесправного сотворила, да все одно живой человек. Не хочу ее Марене отдавать. И так смерть вволю сегодня попировала, Красуна с собой в Пекло забрала.

А варяжку я ей не дам.

Заторопился я. На ноги вскочил. Ухватил ее за ворот и на берег потащил. А ее трясет. Ну, да с этой бедой мы мигом.

Доволок я ее до укрытия давешнего, до поваленной ели. Снег под стволом разгреб, а под снегом лаз. Елка-то упала, но ствол не на землю лег, а на ветви оперся. Медведи в таких укрытиях любят берлоги устраивать. Хвоя густая, а сверху еще и снежком прикрывает. Ни дать, ни взять — шалаш. Вот туда я и стал Ольгу впихивать. Сам спиной сквозь ель пробиваюсь, а ее за собой тяну. Заволок кое-как. Огляделся. А шалашик-то просторным оказался. И нам двоим, и костру место найдется.

Теперь огонь нужен.

Пробил дыру в снежной крыше нашего схорона. Расчистил ее, чтобы от дыма не задохнуться.

— Потерпи, — это я Ольге, — скоро согреешься.

А сам веточек наломал, хвои пожелтевшей надрал. Снега под валежиной не много оказалось. Надежно от вьюги зимней елка свое ложе укрыла. Распихал я его по сторонам, а тут и трава пожухлая. Вырвал пучок, трех скинул, об затылок траву натер. Потом из калиты*

**Калита — кошель. Обычно калиту носили на поясе, либо на тонком ремешке, на шее и хранили в ней все самое ценное.*

кремень с кресалом достал, чагу*

**Чага — древесный гриб, использовался в качестве трута.*

сушеную. Веточки вокруг травы клетью выложил. У самого руки трясутся от холода, да от спешки. Развалилась моя клеть. Изругался я на себя за торопливость и наново ветки выкладывать начал. А спешить надо. Теперь каждое мгновение на счету.

— Огнь-огнец, живому отец, яви буйность свою ярую, душу жаркую, тело горячее, кровь жгучую, силу могучую. Обогрей и оборони от холода, от ворога, от глаза недоброго, от лихоманки злой, от тоски пустой. Дам за то тебе веточку — кушай, да меня слушай. А слова мои крепки и лепки, крепче Камня Алатырного, да лепче Земли-Матушки, — скороговоркой пробубнил я и ударил кремнем по кресалу.

Брызнули искры. Занялась чага. Дуть я на нее начал. Затлел трут, а я к огоньку травинку приложил. Подымила она чуток и вспыхнула. Вот и огонек появился. А потом и костерок занялся.

Всего несколько мгновений ушло у меня на то чтобы костер развести, а и они вечностью показались. Теперь и за бабу приниматься пора. Порча да поволоки дорогие на

ней водой наскрозь пропитались. Закоженели во льду. Я с нее их снимать начал, а они в руках, как слюда оконная хрустят. А Ольгу колотун бьет. Зубы клацают. Она сказать что-то хочет, а вместо слов мычанье с завываниями.

— Ты молчи лучше. Молчи, — я ей тихонечко. — Тебе силы беречь теперь надобно, — а сам ее из одежды каляной высвобождаю.

Спихватился. С себя обыжку овчинную скинул, чтобы было, во что Ольгу укутать. Рядом с костерком расстелил. Самого морозец куснул, да, небось, всего не выкусит.

Кое-как раздел бабу. На подстил положил. Красивая она, но мне сейчас не до красоты. Растирать ее начал. Она стонет, все старается прикрыться от меня, а я тру ее и приговариваю:

— Лихоманка злая, изморозь седая, это тело не твое дело. Вон из него и из места сего!

Долго тер, даже сам взопрел. Смотрю — только ступни у нее от холода синюшные, а сама розоветь начала, в глазах туман рассеивается.

— Вот и славно, — обрадовался я, в обыжку*

**Обыжка — меховая, чаще овчинным мехом внутрь, одежда, тулуп.*

ее завернул и ногами к костру придвинул. — Ты полежи тут, — говорю, — а я сейчас.

Выполз из убежища нашего. Огляделся — коней нет. Они лед до самого берега взломали, и, пока я из Ольги лихоманку гнал, сбежали.

— Плохо это. Ой, как плохо, волчары вас задери! — выругался в сердцах.

Но мороз долго сокрушаться не позволил. Лапника с елок я наломал, охапку целую. Снег с хвои сбил и обратно в шалаш полез.

— Ну, что? Согреваешься?

— Д-д-да, в-в-вроде, — отвечает.

— Ничего, — говорю, — сейчас еще теплее станет.

Лапником наш шалаш застелил. Еще веток в костер подбросил. Зашипели они змеейкой, паром посвистели и занялись. Огонь заплясал, и от костра волнами полилось спасительное тепло.

Я одежду Ольгину вокруг на ветви развесил, а сам ступни ей растирать начал. Чую — нога у нее дернулась. Щекотно значит. Со второй дела похуже оказались.

— Что там? — спросила она, поморщившись от боли.

— Худо, — покачал я головой. — Пальцы отморозила. К утру распухнут. Ходок из тебя никудышный.

— А кони?

— Ушли кони, — вздохнул я, а потом взглянул на нее. — Сама-то как?

— Трясет еще. Зябко, — ее передернуло.

Снег в ее волосах начал таять, и прядка прилипла к влажному лбу. Губы посинели, на щеках проступил нездоровый румянец, но в глазах ее была решимость. И понял я, что просто так она не сдастся.

— Греться будем, — твердо сказал. — Не то к утру совсем задубеем.

Скинул с себя зипун и рубаху. Поежился от холода. Стянул ноговицы, развязал онучи, размотал их, развязал гашник, снял себя порты и исподнее. Мое голое тело сразу покрылось мурашками, но я постарался не обращать на них внимания.

Затем, весь этот ворох одежды расстелил на лапнике.

— Т-ты чего задумал-то? — утихшая было дрожь, вновь вернулась к ней, а в глазах появился страх.

— Да, не бойсь ты, — я невольно улыбнулся. — Выживать я задумал. Забирайся сюда, — кивнул я на лежанку. — Глядишь, к утру, твоя одежда просохнет, а вдвоем-то под обыжкой теплее будет.

Она мгновение поразмыслила, а потом кивнула и, стараясь не потревожить обмороженную ногу, заползла на ложе.

— Ну, чего ждешь? — она откинула полог обыжки и вдруг сама улыбнулась хитро. — Давай быстрее. Застудишься.

Трещали в костре смолистые еловые ветки. Пахло разопревшей хвоей. Паром исходила развешанная одежда. Весенней каплейю звенел подтаявший снег. Ольга спала, приткнувшись на моем плече, изредка вздрагивала во сне и постанывала. Жар ее накрывал. Но этот жар был сейчас спасением для нас обоих. Ее тело доверчиво прижималось к моему, рука обнимала мою грудь, а больная нога покоилась на моих ногах. Тепло от костра было в нашей берлоге. Тепло было под овчиной.

Я в пол глаза дремал. Время от времени осторожно, стараясь не потревожить Ольгу, подкармливал ветками огонь, а сам все думал о своей странной судьбе. Искал, но так и не находил ответа на вопрос, который когда-то задал своему наставнику Белореву. Вопрос: ЗАЧЕМ?

А еще Красуна жалел. Вспоминал, как его на Посвящении ратником нарекли. Не захотел он по нареченному жить, на бранном поле свою голову класть, в охотные люди

подался. Выходит, Долю не перехитрить? Не мытьем она свое возьмет, так катанием. Тяжко ему теперь. Мог бы в Сварге сейчас с пращурами за столом сидеть, песни петь, Правь славить, а вместо этого Водяному в угодники попал. И когда теперь снова в Явь вернется неизвестно. Может, отпустит его речной хозяин? Натешится и отпустит. А может, при себе в русалах оставит на веки вечные.

А что же мне судьба уготовила?

— Ты станешь великим ярлом, Добрын, сын Мала, — так мне Вельва в Ледяной земле напророчила.

Ошиблась видать.

Конюх я.

Холоп бесправный.

Сбежать хотел, да и на это силенок не хватило. Хозяйку свою пожалел, а воли лишился. Вот, наверное, Недоля сейчас надо мной потешается...

А может, время еще не пришло? А может...

Сморил меня все же сон.

Словно в бездну я провалился...

И очнулся вдруг. От того, что губы влажные на груди своей почувал. И не разобрать сразу: то ли мне Любава снится, то ли мы на сеновале с Томилой задремали, а может девка распутная — Гро, дочь Трюггваса, мне причудилась?

И вдруг понял я, чьи это губы.

Ну и что?

Пусть хозяйка. Пусть варяжка. Пусть недруг.

Баба — она баба и есть...

29 ноября 947 г.

— Ногу я тебе ненароком не потревожил? — спросил я Ольгу утром.

— Дурачок, — ответила она, — разве же в такой миг боль чувствуешь? — а потом вздохнула:

— Знал бы ты, как давно я вот так, на мужское плечо голову свою не клала? Любый ты мой... — и в бороду поцеловала.

А в глазах блеск горячечный.

— Это Трясавица в тебе тешится, — погладил я ее по руке. — Выбираться нам надо. К людям идти. Не то она тебя совсем спалит.

— А может, останемся? Знойно здесь. Покойно, — шепчет, а сама теснее ко мне прижимается.

— А сын твой как же? Без мамки Святославу не легко придется.

От этих слов она встрепенулась. В себя пришла. Взглянула на меня, точно впервые увидела, головой тряхнула, словно наваждение прогоняя. Волосы ее по плечам рассыпались, грудь прикрыли.

— Чего же это мы? — спросила растерянно.

И заторопилась. Засуетилась. Принялась одежду свою с ветвей снимать. Повернулась неловко. Ногой, обмороженной, за сучок задела. Вскрикнула от боли и заплакала навзрыд.

— Погоди, — я ей тихонечко. — Сейчас.

А сам обыжку скинул, гляжу — пальцы на ноге у нее словно сливы спелые. Я на них подул и зашептал:

— Боля, ты, боля, Марена Кощевна...

— Полегче вроде, — через некоторое время сказала она.

— Ненадолго это, — вздохнул я устало. — Одеваться нам надо. Давай помогу тебе.

— Сама справлюсь, — оттолкнула она мою руку.

Липкий пот заливает глаза. Щиплют от соли веки. Чешутся брови. Так хочется утереться, а то и вовсе рухнуть на землю и зарыться лицом в снег. Так хочется. Но понимаю, что нельзя мне. Замерзну. Засну. И ношу свою заморожу. Оттого и терплю. А ноша у меня не легкая. И с каждым шагом все тяжелей становится.

У меня на закорках Ольга сидит. За плечи меня обнимает. А, я руками ее под колени подхватил и тащу по своим вчерашним следам. И буду тащить, пока без сил не рухну.

Давно иду. И силы уже на исходе. Но знаю, что недолго осталось. Еще чуть-чуть и либо выйдем мы, либо в бору заснеженном вместе ляжем. В обнимку.

На одной ноге у нее сапог, а на другой обмотка. Я одну из сорочиц ее на ленты изодрал, на онучи пустил. А сапог у елки поваленной кинул. Лишней обувью он. А сапог хорош. Бисером расшит. Камнями разноцветными. Будет теперь зверью лесному забава.

Ольга-то ничего. Крепится. Поначалу подбадривала меня.

— Была у меня кобылка, а теперь жеребчиком обзавелась.

Но это поначалу было. Теперь молчит. Сопит над ухом только, да покашливает. А кашель противный. Сухой. Без мокроты. Дурной знак.

Отвара бы ей, малины сушеной. Молока горячего с медом. Ну, да это потом. Когда к людям выйдем. Небось, ищут ее, с ног сбились. А она здесь. Конюха оседлала...

Все.

Нет больше мочи.

Упаду сейчас. Вот еще пару шагов сделаю и упаду. Или еще на шаг силы хватит?

Хватило.

И еще один сделать можно, если бы не пот. Совсем глаза залил. Не вижу куда иду.

Может, уже и со следа сбился?

Нет. Вот он след. Темной цепочкой по снегу белому. Тут я вчера о валежник спотыкался? Или не тут?

Я уже падать собрался, и, вдруг, лай собачий услышал.

— Эй! — что есть силы закричал, и бор эхом отозвался. — Здесь мы! Сюда! Э-э-эй!

Ау!

Точно. Собака бежит. В ухо мне языком. Как же она до уха-то достала?

Понял.

Не трудно достать, коли мы на снегу лежим. Не заметил, как упал. Как там Ольга?

Не ушиблась ли?

А она мне:

— Ты забудь о том, что меж нами ночью было, — и снова застонала.

А что было?

Я и не помню уже.

Догнала меня горячка. Настигла. Зубами острыми вцепилась, как лиса в полевку. Сглотнула — и нет меня. В жару, да в бреду растворился. Явь с Навью перепутал. День светлый с темной ночью в сумрак серый превратились. И несло меня по этому сумраку, на волнах качало, то вверх к небесам вздымало, то вниз в бездну отбрасывало.

И не вспомнить теперь, как нашли нас. Как в Киев доставили. Знаю только, что меня за побег неудачный никто не корил. То ли не поняли, как я вдруг у той речушки оказался, то ли поняли, но виду не подали. Мол, княгиню от смерти спас, а, как и что, там у них случилось — не важно уже. А может, Ольга меня от кары уберегла? Она мне про то никогда не рассказывала. Да и не до того нам потом было. Не до того.

6 декабря 947 г.

Разрывало меня от простуды. Кашель душил. В грудь точно кол осиновый вбили, да с крюками железными, и тянут за него — меня наизнанку распротать хотят. И душа наружу вот-вот выпрыгнет, да по округе плясать пойдет. И вприсядку пустится, и с подвыподвертом, и с коленцами всякими. То ли воле радоваться будет, то ли по телу моему горевать. Жаром жгло. От жара вздор в голову лез. Чушь всякая грезилась. То Красун ко мне приходил. Все корил, что варяжку спас, а его не пожалел. То Свенельд надо мной смеялся. Подначивал.

И я уже не я вроде, а крысук в бочке. Жмусь к стенке железной — студено мне. Боязно. А супротив недруг мой шерстью серой ошетинился. Усищами шевелит, носом — пуговкой поводит, точно вынюхивает меня. Хвостом, как бичом пощелкивает.

Унюхал. На меня бросился. Клыками в горло вцепиться старается. Лапами когтистыми по груди царапает. Сейчас придушит меня и на прокорм пустит. Не желаю я в снесь идти. Отбиваюсь. Хлещу хвостом по бокам вражым. Зубы его своими зубами встречаю. Из объятий его вырываюсь. От шерсти, что в рот набилась, отплеываюсь. Наседает он. Наскакивает. Писком пронзительным меня изводит. Коготком глаз мне вырвать хочет. Словно знает, что из бочки наружу лишь один живым выйдет.

А сверху, то луч солнечный пробивается, то тень накрывает. Это люди над бочкой склонились. Ревут радостно. От рева по бочке эхо раскатывается, нас с толку сбивает. И от этого злость во мне в ярость оборачивается. И уже не я от него, а ворог от меня бегать начал. От нападков моих уворачивается. Хвост свой лысый жмет. Только нет во мне сострадания. Озлобление мне глаза застит. Смерти его хочу. Крови жажду. Прижал супротивника к железному полу. Лапами горло ему сдавил. Уже не пищит он, а только повизгивает. Я уже победу чую. Ликую ошалело. И вдруг вижу, что у противника вовсе не морда крысиная, а лицо человечесь. Мое лицо. И не крысу я давлю, а себя убиваю. И тогда закричал я. И крика своего устрошился...

— Добрыня! Добрынюшка! Тише! — слышу голос ласковый.

Голос этот я ни с чем не спутаю. Так только Любавушка моя нашептать может. Значит один мой бред на другой наехал. Значит наваждение продолжается.

— Милая моя, — я в ответ. — Как же рад, что пришла ты ко мне. Хоть навкой, хоть мороком бестелесным, — говорю, а глаза открыть боюсь.

Знаю, что растает она. Дымкой улетучится. Туманом расползется. Лучше уж так, как есть. Голос ее слышать. Ладонь ее мягкую на щеке чувствовать.

Ладонь?!

Какая же ладонь у морока?

— Любава? — не утерпел я, веки тяжелые поднял.

Не растаяла она. Не исчезла. Надо мной склонилась. На лице улыбка, а в глазах нежность.

— Любава! — крикнул, но крик мой шепотом обернулся. — Ты тоже умерла? Так вот он какой, светлый Ирий!

— Ну, чего ты дурной? Рано нам помирать. В жару ты, Добрынюшка, только кончится это скоро. Ты же помнишь, что ведьма я? Худое уже позади. Теперь на поправку пойдешь. Тебе теперь побережься надобно.

Какое беречься? У меня от неожиданного счастья такого голова кругом пошла.

— Так как же это? Так откуда же ты? Так, где же мы? — ладошку ее схватил и к губам прижал.

— Будет, — улыбнулась она, — будет тебе. В Козарах мы, у Соломона на подворье. В дому его. Лекарь в граде. В тереме княжеском он варяжку пользует. На ноги ставит. А тебя велели сюда принести, под мою опеку.

— Давно мы здесь?

— Да уж поболее седмицы. Я же теперь в помощницах у него.

— Как же так?

— Да, вот так. Считай, два лета в неведение промучилась. Батюшка с матушкой уговаривали, чтобы дома тебя дожидалась. Не хотели меня к полянам отпускать. Боялись, что обидеть в дороге могут. Вот и маялась в разлуке, были бы крылья — в Киев бы улетела. Уж больно с тобой повидаться хотела. А тут и случай подвернулся. Как снег лег, да реки встали, пришли к нам варяги. Ругу от земли Древлянской для Руси собирали, а дядька Куденя у них за обозного. Я с обозом и пристроилась. Долго мы от одного подворья к другому ходили, с огнищан подать брали. Наконец сюда пришли. В град меня не пустили, так я стала подворье Соломоново искать. Мне люди добрые на этот дом указали. Как узнал лекарь, что я Берисавы-ведьмы дочка, сразу принял меня. Рассказал, что жив ты, что здоров. Да вот незадача, я же сюда пришла в тот день, когда вы на охоту уехали. Я Соломона упрашивать стала, чтоб он в дому своем меня приютил, хоть полемойкой, хоть стряпухой, хоть за свиньями смотреть. А он рассмеялся:

— Откуда в этом доме свиньи? — говорит. — Оставлю тебя, коли расскажешь, как мать твою болезных исцеляет.

А я и рада-радехонька. В последнее время мы с матушкой на пару народ принимали. Уж больно много увечных и болящих после нашествия полянского оказалось. Теперь я почти ничем ей в силе не уступаю. И Соломона заговорами, сборами, мазями и отварами удивила. Он только записывать успевал. А потом и вовсе попросил в помощницах у него походить. Тут и охотники вернулись. Я снова ко граду собралась, а тут тебя принесли.

Простужен ты был сильно. В горячке буробил. Томилу какую-то поминал и варяжку эту, словно было у тебя с ними что-то, — и вдруг внимательно на меня посмотрела, точно в душу самую заглянула.

— Будь ласка, Любавушка, — отвел я глаза. — Было.

— Выходит, кончилась твоя любовь ко мне? — я почувствовал, как напряглась она, как насторожилась.

И что ответить ей? Что сказать?

Промолчал я.

А она руку свою от меня убрала. Встала молча и вон вышла. Вот тогда мне захотелось умереть. Тошно стало. От себя тошно. Только было же. И не избавиться от этого. И из жизни не выкинуть.

Долго я один оставался. О многом передумал. Лежу, Марену зову. Чтоб пришла она, да в Пекло с собой забрала.

Но вместо смерти Любава дверью скрипнула. Принесла питье в берестяном корце. Ко мне подсела, голову мне приподняла.

— Пей, — говорит. — Тебе надобно.

А глаза у нее, словно льдинки холодные.

— Мне бы отравы сейчас, — отвернулся я от питья.

— Пей, что даю, а отравка дело последнее.

Выпил я варево. Она мне губы, как маленькому, тряпицей утерла и встала. А я ее за руку схватил.

— Погоди, — говорю.

А она мне:

— Чего годить-то?

— Не прошла моя любовь. Сильнее в разлуке стала. Каждый день о тебе думал.

Каждую ночь во сне видел...

— Так чего ж ты тогда?

— Я же в них тебя искал. Не нашел. Нет такой второй на всем белом свете.

Вновь взглянула она на меня, а потом отвернулась.

— Мне тебя на ноги поставить нужно, а разбираться после будем, — наконец, сказала и меня в одиночестве оставила.

Она ушла через три дня. Не простившись. Я как раз с постели подниматься начал. Ноги на пол опустил, Любаву позвал, а вместо нее Соломон пришел. Он-то и сказал, что она по утру с подворья ушла.

— А куда?

— Это мне не ведомо, — покачал головой старый лекарь. — Упустил девку, Добрын, чего же теперь горюниться? Гордая она, а гордую обидеть легче легкого.

— Не девка она, — я ему, — жена мне перед Богами.

— Ну, тем более. Только если любовь у вас настоящая, то свидитесь еще, и все у вас наладится. Так что успокойся и на здоровье настраивайся. Вот, держи, это она оставила. Ни то забыла, ни то с умыслом, — и колту мне протягивает, а на ней волосок ее узлом завязанный.

Я колту к губам прижал, и в калиту спрятал. Решил, что непременно верну. Вот только когда? А не важно...

А чуть позже, когда совсем поправился и к своим вернулся, встретил Томилу, поздоровался, а она от меня, словно от чумного убежала. Я, было, удивился, но Кветан мне пояснил:

— Девка какая-то Томилу после дойки перестряла. Сказала, что если подойдет она к тебе — чирьяками изойдет и гноем вытечет. Напужала доярочку нашу. Она теперь на конюшню и носа не кажет. Все со своим Алданом-десятником возжается. Жалко. Знойная она. Покладистая. Эх! — и в сердцах рукой махнул.

Я только головой покачал, а про себя подумал:

— Ведьмочка ты моя. Любимая.